

КОЛЛЕКЦИОННАЯ КНИГА

Эдгар Аллан По

ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

Издательство АСТ
Москва



УДК 821.111-3(73)
ББК 84(7Сое)-44
П61

Дизайн обложки *Алексея Родюшкина*
Иллюстрации *Гарри Кларка*

По, Эдгар Аллан

П61 Падение дома Ашеров / Эдгар Аллан По; пер. З.Е. Александрова, К.Д. Бальмонт, Н. Галь, В.А. Неделина и др. — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 224 с. — (Коллекционная книга).

ISBN 978-5-17-161096-8

Эдгар Аллан По (1809–1849) — писатель, поэт, эссеист, представитель американского романтизма.

Его влияние на мировую литературу огромно — родоначальник классического детектива, научно-фантастического и психологического рассказов, предвосхитил время, в котором жил, сформировав новые уникальные жанры.

«Отец» современного триллера в своих произведениях создал особый мистический будоражающий мир, где мрачные события и катастрофы, трагически изменяют сознание героя, охваченного ужасом и теряющего контроль над собой. А зловещая, угнетающая обстановка, общая атмосфера безнадежности и отчаяния дает читателю прочувствовать разные состояния — от печали и тревоги до заинтересованности и страха.

В книгу вошли самые известные произведения Э.А. По: «Падение дома Ашеров», «Береника», «Убийство Мари Роже» и многие другие, где автор пытается разгадать метаморфозы человеческой психики и познать её тайные свойства и патологии, обнажившиеся в «аномальных» условиях.

Издание органично дополняют иллюстрации Гарри Кларка.

УДК 821.111-3(73)
ББК 84(7Сое)-44

ISBN 978-5-17-161096-8

© З.Е. Александрова, перевод, 2024
© К.Д. Бальмонт, перевод, 2024
© В.А. Неделина, перевод, 2024
© Р.М. Гальперина, перевод, 2024
© О.П. Холмская, перевод, 2024
© В.В. Рогов, перевод, 2024
© Н. Галь, перевод, 2024
© Издательство АСТ, 2024

БЕРЕНИКА



DICEBANT MIHI SOCIALES,
SI SEPULCHRUM AMICAE VISITAIEM
CURAS MEA ALIQUANTULUM FORE
LEVATAS.

IBN ZAIIAT¹

Печаль многосложна. И многострадальность человеческая необъятна. Она обходит землю, склоняясь, подобно радуге, за ширь горизонта, и обличья ее так же изменчивы, как переливы радуги; столь же непреложен каждый из ее тонов в отдельности, но смежные, сливаясь, как в радуге, стано-

¹ Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (*лат.*) — Ибн-Зайат.

вятся неразличимыми, переходят друг в друга. Склоняясь за ширь горизонта, как радуга! Как же так вышло, что красота привела меня к преступлению? Почему мое стремление к мирной жизни накликало беду? Но если в этике говорится, что добро приводит и ко злу, то так же точно в жизни и печаль рождается из радости. И то память о былом блаженстве становится сегодня истязательни-

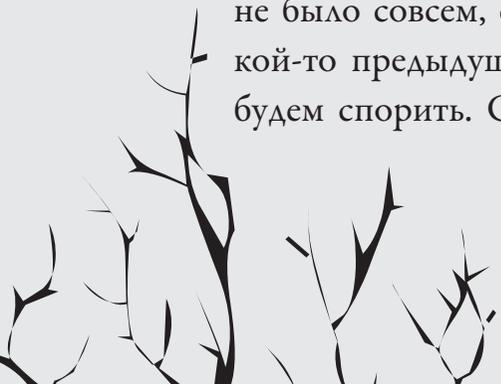
цей, то оказывается, что причина — счастье, которое *могло бы сбыться* когда-то.

При крещении меня нарекли Эгеем, а фамилию я называть не стану. Но нет в нашем краю дворцов и покоев, более освященных веками, чем сумрачные и угрюмые чертоги, перешедшие ко мне от отцов и дедов. Молва приписывала нам, что в роду у нас все не от мира сего; это поверье не лишено оснований, чему свидетельством многие причуды в устройстве нашего родового гнезда — в росписи стен парадного зала и гобеленах в спальнях покоях, в повторении апокрифических изображений каких-то твердынь в нашем гербовнике; а еще больше — в галерее старинной живописи, в обстановке библиотеки и, наконец — в необычайно странном подборе книг в ней.

С этой комнатой и с ее книгами у меня связано все с тех пор, как я помню себя; с книгами, о которых, однако, я не стану говорить. Здесь умерла моя мать. Здесь появился на свет я. Но ведь так только говорится — словно раньше меня не было совсем, словно душа моя уже не жила какой-то предыдущей жизнью. Вы не согласны? Не будем спорить. Сам я в этом убежден, а убеждать

других — не охотник. Живет же в нас, однако, память о воздушных образах, о взорах, исполненных глубокого духовного смысла, о звуках — мелодичных, но печальных; и от нее не отделаешься, от этой памяти — подобной тени чего-то — неясной, изменчивой, ускользающей, робкой; и, как и без тени, я не мыслю без нее своего существования, пока солнце моего разума светит.

В этой вот комнате я и родился. И поскольку, едва опомнившись после долгой ночи кажущегося — но только кажущегося — небытия, я очнулся в сказочных пределах, во дворце воображения, сразу же одиноким схимником мысли и книгочеем, то *ничего* нет удивительного, что на окружающую жизнь я смотрел пристально-неподвижным взглядом, что отрочество свое я провел за книгами, что, забывшись в грезах, не заметил, как прошла юность; но когда, с годами, подступившая зрелость застала меня все там же, в отчем доме, то *поистине* странно было, как тогда вся жизнь моя замерла, и удивительно, как все установившиеся были представления поменялись в моем уме местами. Реальная жизнь, как она есть, стала казаться мне видением, и не более



БЕРЕНИКА

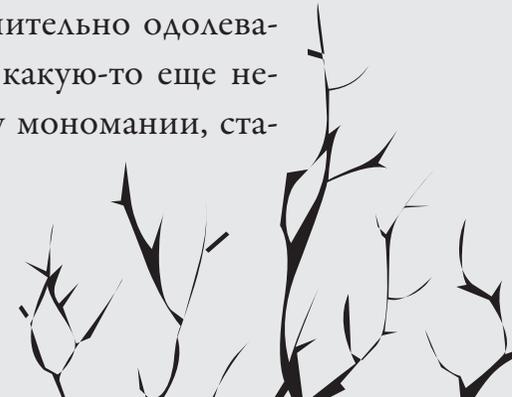
как видением, зато безумнейшие фантазии теперь не только составляли смысл каждодневного моего бытия, а стали для меня поистине самым бытием — единственным и непреложным.



Береника доводилась мне кузиной, мы росли вместе, под одной крышей. Но по-разному росли мы: я — хилый и болезненный, погруженный в сумерки; она — стремительная, прелестная; в ней жизнь была ключом, ей — только бы и резвиться на склонах холмов, мне — все корпеть над книгами отшельником; я — ушедший в себя, предавшийся всем своим существом изнуряющим, мучительным думам; она — беззаботно порхающая по жизни, не помышляя ни о тенях, которые могут лечь у ней на пути, ни о безмолвном полете часов, у которых крылья воронов. Береника!.. я зову ее: Береника! — и в ответ на это имя из серых руин моей памяти вихрем взвивается рой воспоминаний! Ах, как сейчас вижу ее перед собой, как в дни юности, когда она еще не знала ни горя, ни печалей! О, красота несказанная, волшебница! О, сильф в чащах Арнгейма! О, ная-

да, плещущаяся в струях! А дальше... дальше только тайна и ужас, и повесть, которой лучше бы оставаться не рассказанной. Болезнь, роковая болезнь обрушилась на нее, как смерч, и все в ней переменилось до неузнаваемости у меня на глазах, а демон превращения вторгся и ей в душу, исказив ее нрав и привычки, но самой коварной и страшной была в ней подмена ее самой. Увы! Разрушитель пришел и ушел, а жертва — где она? Я теперь и не знал, кто это... Во всяком случае, то была уже не Береника!

Из множества недугов, вызванных первым и самым роковым, произведшим такой страшный переворот в душевном и физическом состоянии моей кузины, как особенно мучительный и от которого нет никаких средств, следует упомянуть некую особую форму эпилепсии, припадки которой нередко заканчивались *трансом*, почти неотличимым от смерти; приходила в себя она, по большей части, с поразительной внезапностью. А тем временем собственная моя болезнь — ибо мне велели иначе ее и не именовать — так вот, собственная моя болезнь тем временем стремительно одолевала меня и вылилась, наконец, в какую-то еще невиданную и необычайную форму мономании, ста-



новившейся час от часу и что ни миг, то сильнее, и взявшей надо мной, в конце концов, непостижимую власть. Эта мономания, если можно так назвать ее, состояла в болезненной раздражительности тех свойств духа, которые в метафизике называют *вниманием*. По-видимому, я выражаюсь не особенно вразумительно, но, боюсь, что это и вообще задача невозможная — дать заурядному читателю более или менее точное представление о той нервной *напряженности интереса* к чему-нибудь, благодаря которой вся энергия и вся воля духа к самососредоточенности поглощается, как было со мной, созерцанием какого-нибудь существа пустяка.

Забыться на много часов подряд, задумавшись над какой-нибудь своеобразной особенностью полей страницы или набора книги; проглядеть, не отрываясь, чуть ли не весь летний день на причудливую тень, пересекающую гобелен или легшую вкось на полу; провести целую ночь в созерцании неподвижного язычка пламени в лампе или угольков в очаге; грезить целыми днями, вдыхая аромат цветка; монотонно повторять какое-нибудь самое привычное словцо, пока оно из-за бесконеч-

ных повторений не утратит значения; подолгу замирать, окаменев, боясь шелохнуться, пока таким образом не забудешь и о движении, и о собственном физическом существовании, — такова лишь малая часть, да и то еще самых невинных и наименее пагубных сумасбродств, вызванных состоянием духа, которое, может быть, и не столь уже необычайно, но анализу оно мало доступно и объяснить его нелегко.

Да не поймут меня, однако, превратно. Это несоразмерное поведению, слишком серьезное и напряженное внимание к предметам и явлениям, которые сами по себе того совершенно не стоят, не следует смешивать с обычной склонностью заноситься в мыслях, которая присуща всем без исключения, а особенно натурам с пылким воображением. Оно не является даже, как может поначалу показаться, ни крайней степенью этого пристрастия, ни увлечением им до полной потери всякой меры; это — нечто по самой сути своей совершенно иное и непохожее. Бывает, например, что мечтатель или человек увлекающийся, заинтересовавшись каким-то явлением, — но, как правило, отнюдь не ничтожным, — сам того не замечая,

упускает его из виду, углубляясь в дебри умозаключений и догадок, на которые навело его это явление, пока, наконец, уже на излете подобного парения мысли — *чаще всего весьма возвышенного*,⁴ — оказывается, что в итоге incitamentum, или побудительная причина его размышлений, уже давно отставлена и забыта. У меня же исходное явление всегда было *самым незначительным*, хотя и приобретало — из-за моего болезненного визионерства — некое новое преломление и значительность, которой в действительности не имело. Мыслей при этом возникало немного, но и эти умозаключения неуклонно возвращали меня все к тому же явлению — как к некоему центру. Сами же эти размышления *никогда* не доставляли радости. Когда же мечтательное забытие подходило к концу, интерес к его побудительной причине, ни на минуту не упускавшей из виду, возрастал уже до совершенно сверхъестественных и невероятных размеров, что и являлось главной отличительной чертой моей болезни. Одним словом, у меня, как я уже говорил, вся энергия мышления тратилась на *сосредоточенность*, в то время как у обычного мечтателя она идет на *полет мысли*.

Книги, которые я в ту пору читал, если и не были прямыми возбудителями моего душевного расстройства, то — во всяком случае, своей фантастичностью, своими мистическими откровениями — безусловно отражали характернейшие признаки самого этого расстройства. Из них мне особенно памяты — трактат благородного итальянца Целия Секундуса Куриона «De amplitudine beati regni Dei»¹, великое творение Блаженного Августина «О граде Божием» и «De carne Christi»² Тертуллиана (парадоксальное замечание которого «Mortuus est Dei filius; credibile est quia ineptum est: et sepultus resurrexit; certum est quia impossibile est»³ надолго захватило меня и стоило мне многих и многих недель упорнейших изысканий, так и закончившихся — ничем).

Отсюда напрашивается сопоставление моего разума, который выбивало из колеи лишь соприкосновение с мелочами, с тем упоминаемым у Птолемея Гефестиона океанским утесом-исполином, который выдерживает, не дрогнув, самые бешеные

¹ «О величии блаженного Царства Божия» (лат.).

² «О пресуществлении Христа» (лат.).

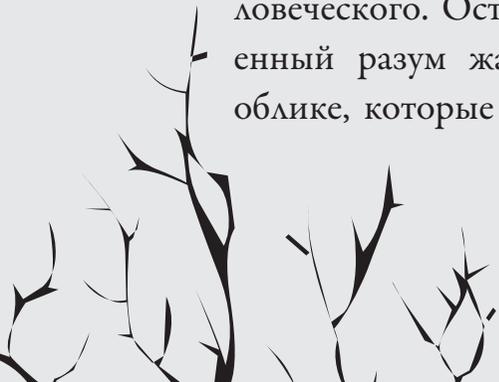
³ Умер Сын Божий — заслуживает доверия, ибо нелепо; умерший воскрес — не подлежит сомнению, ибо невозможно (лат.).

приступы людской ярости и еще более лютое неистовство ветра и волн, но вздрагивает от прикосновения цветка, который зовется асфоделью. И хотя, на самый поверхностный взгляд, может показаться само собой разумеющимся, что перемена, произведенная в душевном состоянии Береники ее губительным недугом, должна была бы доставить обильную пищу самым лихорадочным и безумным из тех размышлений, которые я с немалым трудом пытался охарактеризовать, но ничего подобного на самом деле не было. Правда, когда у меня наступали полосы просветления, мне было больно видеть ее жалкое состояние, и, потрясенный до глубины души крушением этой благородной и светлой жизни, я, конечно же, то и дело предавался горестным думам о чудодейственных силах, которые произвели такую невероятную перемену с такой молниеносностью. Но на эти размышления мои собственные странности как раз не накладывали своего отпечатка; так же точно думало бы на моем месте большинство нормальных представителей рода человеческого. Оставаясь верным себе, мой расстроенный разум жадно упивался переменами в ее облике, которые хотя сказывались не столь уж за-

метно на *физическом* ее состоянии, но меня как раз и поражали более всего таинственной и жуткой подменой в этом существе его самого.

В самые золотые дни, какие знала ее необыкновенная красота, я не любил ее; конечно, именно так и было. При том отчужденном и совершенно необычном существовании, которое я вел, сердечных переживаний я не знал, и все увлечения мои были всегда чисто головными. На тусклом ли рассвете, меж рядами ли полуденных лесных теней и в ночном безмолвии библиотеки проходила она перед моими глазами — я видел в ней не живую Беренику во плоти, а Беренику-грезу; не земное существо, а некий его символ, не женщину, которой нельзя было не восхищаться, а явление, которое можно анализировать; не живую любимую, а тему самых глубоких, хотя и наиболее хаотических — мыслей. *Теперь же...* теперь я трепетал в ее присутствии, бледнел при ее приближении; однако, горюя о том, что она так жалка и безутешна, я напомнил себе, что когда-то она меня любила, и однажды, в недобрый час, заговорил о женитьбе.

И вот, уже совсем незадолго до нашего бракосочетания, в тот далекий зимний полдень, в один из



БЕРЕНИКА

тех не по-зимнему теплых, тихих и туманных дней, когда была взлелеяна красавица Гальциона, я сидел во внутреннем покое библиотеки (полагая, что нахожусь в полном одиночестве). Но, подняв глаза, я увидел перед собой Беренику.

Была ли причиной тому только лихорадочность моего воображения или стелющийся туман так давал себя знать, неверный ли то сумрак библиотеки или серая ткань ее платья спадала складками, так облекая ее фигуру, что самые ее очертания представлялись неуловимыми, колышались? Я не мог решить. Она стояла молча, а я... я ни за что на свете не смог бы ничего вымолвить! Ледяной холод охватил меня с головы до ног; невыносимая тревога сжала сердце, а затем меня захватило жгучее любопытство и, откинувшись на спинку стула, я на какое-то время замер и затаил дыхание, не сводя с нее глаз. Увы! вся она была чрезвычайно истощена, и ни одна линия ее фигуры ни единым намеком не выдавала прежней Береники. Мой жадный взгляд обратился к ее лицу.

Лоб ее был высок, мертвенно бледен и на редкость ясен, волна некогда черных как смоль волос спадала на лоб, запавшие виски были скры-

ты густыми кудрями, переходящими в огненно-желтый цвет, и эта причудливость окраски резко дисгармонировала с печалью всего ее облика. Глаза были неживые, погасшие и, казалось, без зрачков, и, невольно избегая их стеклянного взгляда, я стал рассматривать ее истончившиеся, увядшие губы. Они раздвинулись, и в этой загадочной улыбке взору моему медленно открылись зубы преобразенной Береники. Век бы мне на них не смотреть, о Господи, а взглянув, тут же бы — и умереть!



Опомнился я оттого, что хлопнула дверь, и, подняв глаза, увидел, что кузина вышла из комнаты. Но из разоренного чертога моего сознания все не исчезало и, увы! уже не изгнать его было оттуда — жуткое белое сияние ее зубов. Ни пятнышка на их глянце, ни единого потускнения на эмали, ни зазубринки по краям — и я забыл все, кроме этой ее мимолетной улыбки, которая осталась в памяти, словно выжженная огнем. Я видел их *теперь* даже ясней, чем когда смотрел на них. Зубы! зубы!.. вот



они, передо мной, и здесь, и там, и всюду — и до того ясно, что дотронуться впору: длинные, узкие, ослепительно белые, в обрамлении бескровных, искривленных мукой губ, как в ту минуту, когда она улыбнулась мне. А дальше *мономания* моя дошла до полного иступления, и я тщетно силился справиться с ее необъяснимой и всесильной властью. Чего только нет в подлунном мире, а я только об этих зубах и мог думать. Они манили меня, как безумца, одержимого одной лишь страстью. И видение это поглотило интерес ко всему на свете, так что все остальное потеряло всякое значение. Они мерещились мне, они — только они со всей их неповторимостью — стали смыслом всей моей душевной жизни. Мысленным взором я видел их — то при одном освещении, то при другом. Рассматривал — то в одном ракурсе, то в другом. Я присматривался к их форме и строению. Подолгу вникал в особенности каждого в отдельности. Размышлял, сличая один с другим. И вот, во власти видений, весь дрожа, я уже открывал в них способность что-то понимать, чувствовать и, более того — иметь свое, независимое от губ, доброе или недоброе выражение. О мадемуазель Салле го-

ворили: «*que tous ses pas étaient des sentiments*»¹; а я же насчет Береники был убежден в еще большей степени, «*que toutes ses dents étaient des idées. Des idées!*»² Ах, вот эта глупейшая мысль меня и погубила! *Des idées!* ах, *потому-то* я и домогался их так безумно! Мне мерещилось, что восстано-вить мир в душе моей, вернуть мне рассудок может лишь одно — чтобы они достались мне!

А тем временем уже настал вечер, а там и ночная тьма сгустилась, помедлила и рассеялась, и новый день забрезжил, и вот уже снова поползли вечерние туманы, а я так и сидел недвижимо, все в той же уединенной комнате, я так и сидел, погруженный в созерцание, и все та же *Phantasma*³, мерещившиеся мне зубы, все так же не теряла своей страшной власти; такая явственная, до ужаса четкая — она все наплывала, а свет в комнате был то одним, то другим, и тени сменялись тенями. Но вот мои грезы прервал крик, в котором словно слились испуг и растерянность, а за ним, чуть погодя, загудела тревожная многоголосица вперемешку с плачем и горькими

¹ Что каждый ее шаг исполнен чувства (*франц.*).

² Что все зубы ее исполнены смысла. Смысла! (*франц.*).

³ Призраки (*лат.*).

стенаниями множества народа. Я встал и, распахнув дверь библиотеки, увидел стоящую в передней заплаканную служанку, которая сказала мне, что Береники... уже нет. Рано утром случился припадок падучей, и вот к вечеру могила уже ждет ее, и все сборы покойницы кончены.



Оказалось — я в библиотеке, и снова в одиночестве. Я чувствовал себя так, словно только что проснулся после какого-то сумбурного, тревожного сна. Я понимал, что сейчас полночь, и ясно представлял себе, что Беренику схоронили сразу после заката. Но что было после, все это тоскливое время, я понятия не имел или, во всяком случае, не представлял себе хоть сколько-нибудь ясно. Но память о сне захлестывала жутью — тем более гнетущей, что она была необъяснима, ужасом, еще более чудовищным из-за безотчетности. То была страшная страница истории моего существования, вся исписанная неразборчивыми, пугающими, бессвязными воспоминаниями. Я пытался расшифровать их, но ничего не получалось;

однако же все это время — все снова и снова, словно отголосок какого-то давно умолкшего звука — мне вдруг начинало чудиться, что я слышу переходящий в визг пронзительный женский крик. Я в чем-то *замешан* — в чем же именно? Я задавал себе этот вопрос вслух. И многоголосое эхо комнаты шепотом вторило мне: «*В чем же?*»

На столе близ меня горела лампа, а возле нее лежала какая-то коробочка. Обычная шкатулка, ничего особенного, и я ее видел уже не раз, потому что принадлежала она нашему семейному врачу; но как она попала *сюда*, ко мне на стол, и почему, когда я смотрел на нее, меня вдруг стала бить дрожь? Разобраться ни в том, ни в другом никак не удавалось, и, в конце концов, взгляд мой упал на раскрытую книгу и остановился на подчеркнутой фразе. То были слова поэта Ибн-Зайата, странные и простые: «*Dicebant mihi sociales, si sepulchrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas*»¹. Но почему же, когда они дошли до моего сознания, волосы у меня встали дыбом, и кровь застыла в жилах?

¹ Мне говорили собратья, что, если я навещу могилу подруги, горе мое исцелится (*лат.*) — Ибн-Зайат.

ЭДГАР АЛЛАН ПО. ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ

В дверь библиотеки тихонько постучали, на цыпочках вошел слуга, бледный, как выходец из могилы. Он смотрел одичалыми от ужаса глазами и обратился ко мне срывающимся, сдавленным, еле слышным голосом. Что он сказал? До меня доходили лишь отрывочные фразы. Он говорил о каком-то безумном крике, возмущившем молчание ночи, о сбежавшихся домочадцах, о том, что кто-то пошел на поиски в направлении крика: и тут его речь стала до ужаса отчетливой — он принялся нашептывать мне о какой-то оскверненной могиле, об изувеченной до неузнаваемости женщине в смертном саване, но еще дышащей, корчащейся — еще *живой!*

Он указал на мою одежду: она была перепачкана свежей землей, заскорузла от крови. Я молчал, а он потихоньку взял меня за руку: вся она была в отметинах человеческих ногтей. Он обратил мое внимание на какой-то предмет, прислоненный к стене. Несколько минут я присматривался: то был заступ. Я закричал, кинулся к столу и схватил шкатулку. Но все никак не мог ее открыть — сила была нужна не та; *шкатулка* выскользнув из моих дрожащих рук — она тяжело ударилась оземь и разлетелась вдребезги; из нее со стуком рассыпались зубо-врачебные инструменты вперемешку с тридцатью двумя маленькими, словно выточенными из слоновьего бивня костяшками, раскатившимися по полу врассыпную.



ЛИГЕЙЯ

И ЗАЛОЖЕНА ТАМ ВОЛЯ, ЕЙ ЖЕ НЕТ СМЕРТИ.
КТО ВЕДАЕТ ТАЙНЫ ВОЛИ И СИЛУ ЕЯ? ПОНЕЖЕ
БОГ — ВСЕМОГУЩАЯ ВОЛЯ, ЧТО ПРОНИКАЕТ
ВО ВСЕ СУЩЕЕ МОЩИЮ СВОЕЮ. ЧЕЛОВЕК
НЕ ПРЕДАЕТСЯ ДО КОНЦА АНГЕЛАМ, НИЖЕ
САМОЙ СМЕРТИ, НО ЛИШЬ ПО НЕМОЩИ СЛАБЫЯ
ВОЛИ СВОЕЯ.

ДЖОЗЕФ ГЛЕНВИЛЛ

Сколь ни стараюсь, не могу припомнить, каким образом, когда или даже где именно познакомился я с госпожой Лигейей. С той поры минули долгие годы, и память моя ослабела от многих страданий. Или, быть может, я не могу теперь припомнить эти подробности, ибо, право же, характер моей подруги, ее редкостная ученость, ее неповторимая, но покойная красота и волнующая, покоряющая живость

ее тихих, музыкальных речей полонили мое сердце со столь постепенным, но неукоснительным нарастанием, что остались незамеченными и неузнанными. И все же сдается мне, что сначала — и очень часто — встречал я ее в некоем большом, старом, приходящем в упадок городе близ Рейна. О родне своей — конечно же, она что-то говорила. Что род ее — весьма древний, не следует сомневаться.

